Елена Арсеньева

Возлюбленные великих художников

Исторические повести о любви

SHOUT
SHARE
IT

- Елена Арсеньева
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Елена Арсеньева
Амазонки и вечный покой
Исаак Левитан – Софья Кувшинникова

Maman противная, противная! Она похожа на цыганку! У нее коричневые веки, а губы красные, будто красный перец! И она старая, старая! Она старая, а я молодая! Ты не можешь любить ее! Ты должен любить меня! Посмотри!

Девушка рванула ворот своей ситцевой блузы, и он увидел нежную шею, тонкие ключицы, увидел ее маленькую грудь, едва прикрытую батистовой рубашечкой. Рубашку стягивала на груди узкая шелковая лента, завязанная смешным неровным бантиком, и вот худые пальцы нервно, заплетаясь, принялись распутывать бантик, раздвигать края рубашечки, обнажая грудь.

– Смотри, смотри, – твердила она, словно в забытьи, – смотри на меня! А у нее вот здесь морщины, ты знаешь? Я сама видела! И на лбу у нее морщины, и вокруг глаз… Она старая, старая! Ты не можешь ее любить! Ты должен любить меня!

Ясные глаза наполнились слезами, нежные губы искривились от боли. Девушка вцепилась в руки художника, прижала их к своей груди, двигала плечами, и нежное тело переливалось и билось в его ладонях, словно молодая березовая ветка под ветром.

Он опьянел. Смотрел на голубую жилку, бьющуюся на шее, чувствовал, как наливаются возбуждением маленькие груди, видел, как влажно блестят зубы меж неумелых губ, которые все шептали, выдыхали, исторгали бессвязные слова… Он пьянел от ее запаха, напоминавшего тонкий аромат подснежника на тенистом пригорке. Он слушал ее прерывающийся голос и смотрел в потерянные голубые глаза, но видел другое.

Другую!

У той, другой, были темно-русые, разметанные по подушке волосы, припухший, нацелованный рот, гладкие плечи и сильные руки, которые вцеплялись в его плечи и прижимали к себе так, что он не мог оторваться. Да он и не хотел. У него мысли мутились от вкуса ее кожи, от горьковатого, женского, дымного запаха ее тела, он бился в тисках ее сильных ног, впивался губами и зубами во вздыбленные груди, на которых не было никаких морщинок, а если даже и были, он не видел их. Да, не видел, и это он-то, с его острыми глазами, способными различить в одном

белом цвете десятка два тончайших переливов, полутонов, оттенков… Он не видел ничего, что могло бы нанести ущерб ее красоте, которая сводила его с ума и которая принадлежала ему, только ему!

Что-то душило его. Он очнулся от пьянящих мыслей и обнаружил на своей шее тонкие сомкнувшиеся руки. Сухие губы были близко-близко и шептали ему:

– Ты должен бежать со мной! Ты должен…

«Почему она говорит мне «ты»? – подумал художник, вдруг озлясь. – Она девчонка, она мне в дочери годится! И почему я ей что-то должен, этой девчонке?!»

Он сорвал с шеи ненужные ему руки, стиснул слабые запястья:

– Варенька, угомонись. Ну что ты такое говоришь, сама рассуди… Куда мы побежим, с какой радости? Что ты такое о нас возомнила? Ведь твоя матушка… Анна Николаевна, она… и я…

Он начал заикаться, осекся. Но ей не нужно было слов, она и без слов все понимала.

– А, так ты ее любишь? – крикнула Варенька, отскакивая, ударяясь спиной о березу и едва не падая. – Ее, а не меня? Эту старуху?! – Глаза помутнели и безумно расширились. – Тогда я утоплюсь! Утоплюсь и оставлю письмо, что ты, что ты меня…

Она запуталась в угрозах, но художнику уже ясно стало все. И он поверил ее угрозам, поверил в одно мгновение! Он уже успел немножко узнать этот яростный пламень первой любви, смешанной с дикой ревностью к собственной матери. Он представил записку, написанную угловатым почерком, и там – свое имя, окруженное бредом мстительного вымысла. Он увидел темно-серые глаза той, которую любил и которая любила его, увидел страх и отвращение в этих глазах, только что прочитавших, как любимый ею мужчина обесчестил ее дочь. И еще он увидел другую ее дочь, младшую, которую звали так смешно – Люлю – и которая обожала Вареньку и маму, и его обожала, заезжего гостя, знаменитого художника. Он увидел, как она рыдает на могиле сестры, как пытается утереть слезы матери… О господи… Будто наяву, он услышал, как Люлю проклинает этого чужого, ненужного чернобородого человека, который разломал их жизнь, искалечил… Сюжет грядущего кошмара вырисовался в его уме с такой невероятной быстротой и отчетливостью, с какими никогда не рисовались ему сюжеты будущих картин, которые он не просто писал с натуры, а всегда сочинял, подобно тому как его друг Антон Чехов сочинял свои то прелестные, то уродливые рассказы…

О господи, да что же он накуролесил в это лето в Горке, у

Турчаниновых? Будет ли конец этому проклятию? Как же теперь жить?

Жить представлялось невозможным, да и не хотелось. Он неловко схватил с земли свое короткоствольное ружье, с которым возвращался с охоты, вырвал из патронташа патрон, сунул в ствол, как-то извернулся, прижал ствол к голове и, пока его не перехватила Люлю с письмом Вареньки, спустил курок, уповая, что заряд непременно разнесет ему голову. Только бы избавиться от всего этого кошмара, который обрушился на него… Нет, который он сам себе создал, несчастный ловелас, любимец женщин, художник Исаак Левитан!

* * *

«Ради бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы и сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом…»

Письмо было отчаянным до такой степени, что первым побуждением Чехова было – сорваться с места и, бросив все на свете, бросив работу, мчаться из Петербурга в Горку. Однако потом он одумался и только плечами пожал: Исаак, очевидно, рухнул в обычную свою меланхолию. Всем друзьям Левитана было известно, что этот человек совершенно не способен быть счастливым. Грех уныния, который причисляется к семи смертным грехам, – его любимый грех! С другой стороны, он все-таки не христианин, и эта утонченная меланхолия – наверное, необходимая часть его иудейской натуры. Тем более что этот иудей – художник… Самого Чехова ведь тоже не назовешь оптимистом до мозга костей. Но его спасает ирония, без которой он не может жить, а у Исаака нет иного спасения от печалей, кроме искусства и – красавиц, которые липнут к нему, как осы к варенью. Наверное, какая-нибудь провинциальная Клеопатра донимает его внезапно вспыхнувшими чувствами.

Нет, ехать не стоит. Перед поездкой в Горку Левитан заезжал в Петербург, они вдоволь наговорились, среди прочего обсудив этот новый пассаж в жизни Левитана – расставание с «женщиной его жизни» Софьей Кувшинниковой и внезапно вспыхнувшую страсть к новому предмету – Анне Турчаниновой, хозяйке Горки. Опять пережевывать успехи Левитана у женщин? Чехов, сам красавец мужчина, отнюдь не обделенный вниманием нежного пола, втихомолку завидовал другу – еще с тех пор, как в обворожительного иудея ненадолго влюбилась прелестная Лика Мизинова…

Нет, ехать не стоит.

Антон Павлович успокоился и вернулся к работе, даже не затруднив себя ответом. Однако спустя неделю из Горки пришло новое письмо – на сей раз от Анны Турчаниновой. Ну, от той самой, нового предмета внезапной левитановской страсти.

«Обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, что Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один ВЫ можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного!..»

Антон Павлович только головой покачал. Что за комиссия, создатель! Да если бы кто-то сказал еще три года назад, что в минуту крайнего отчаяния Левитан бросится за помощью к нему, Чехову… Между ними ведь тогда дело чуть до дуэли не дошло, на самом краешке все удержалось. И, конечно, дуэль должна была состояться из-за женщины. Теперь, можно не сомневаться, «сильнейшая меланхолия» тоже вызвана «дамским фактором».

О господи, да всю жизнь, что они знакомы, Чехов непременно оказывается свидетелем какого-нибудь «дамского фактора» в жизни своего друга. Причем первой была родная сестра Антона Павловича, Маша! Этот прелестный роман развивался на глазах Чехова и доставил ему немало и веселых, и тревожных минут.

Брат Николай познакомил Антона с Левитаном, и дружба обрушилась на обоих, как весенняя неудержимая гроза. Дружба поистине братская. Чехов знал, что Левитан в тяжелых отношениях с братом Адольфом, который был недурным иллюстратором, однако страшно ревновал младшего брата к славе и завидовал ему. А дружба с Антоном была совершенно свободна от зависти и соперничества, они искренне восхищались достижениями друг друга.

Почему-то Левитан немедленно начал звать Чехова «крокодил», и Антон понимал, что дорог новому другу именно тем, что заставляет его забывать о меланхолии, которая была основой его натуры. Как доктору ему было ясно, что это – следствие еще в детстве перенесенного заболевания, тяжкой жизни в унылой еврейской семье, нищеты, неверия в себя. А ведь художник талантливейший! Но что за вечная тяга к печали и даже

к смерти? То стреляться ему, то вешаться (причем Левитан не болтал, а в самом деле предпринимал такие попытки), то срываться с места и ехать куда-то на Кавказ, да не на воды, а куда-нибудь в горы, где еще пошаливают абреки… Пришлось Чехову чуть не силком переселить соседа из Максимовки в Бабкино, где он гостил у своих друзей Киселевых. Здесь-то Левитан и познакомился с Машей Чеховой, уже тогда, в юности, прозванной за разумность и серьезность Ма-Па, сокращенно от Марья Павловна.

Насмешник Антон немедля сочинил про художника и его страсть к работе превеселый стишок:

А вот и флигель Левитана,
Художник милый здесь живет,
Встает он очень-очень рано
И тотчас чай китайский пьет.
Позвав к себе собаку Весту,
Дает ей крынку молока.
И тут же, не вставая с места,
Этюд он трогает слегка.

Однако Маша стыдила брата за насмешки. Она была в восторге, что рядом живет самый настоящий, «ручной» художник, и бегала за Левитаном ну прямо как собака Веста! У Маши всегда были способности к живописи, а тут она начала серьезно рисовать. И когда шел на этюды Левитан, следом спешила и она. Зато, когда Маша отправлялась порыбачить (она обожала постоять с удочкой на берегу Истры), Левитан, смиряя нетерпеливый свой нрав, тоже застывал на берегу, глядя, впрочем, не столько на сонный поплавок, сколько на прелестное лицо, скрытое в тени большой панамы.

Вот странно – почему-то Левитан не написал тогда ни одного ее портрета. Антона – да, сколько угодно и рисовал, и писал. Говорил, что любит его лицо. Может быть, ехидно думал Антон, Левитан ищет в его чертах сходство с Машей?

Ему было интересно, чем это кончится.

Ну, чем-чем? Известно чем!

Шла как-то раз Маша из Бабкина к лесу, а оттуда возвращается Левитан, по обыкновению, в своей бархатной рабочей куртке с открытым воротом. Эта куртка шла ему необыкновенно и делала просто-таки персонажем Веласкеса.

– Почему, – говорит он, – дорогая Ма-Па, вы нынче не были со мною на этюдах?

– Потому, дорогой Левитан, – отвечает Маша (его все звали

только по фамилии, потому что его старообразное, скучное имя Исаак совершенно не шло к очень красивому, более того – интересному матово-бледному лицу, слегка вьющимся темным волосам, высокому лбу, бархатным глазам и остроконечной бородке), – потому, что наша дорогая хозяйка Марья Владимировна просила меня помочь ей очистить вишни для пирога, который она намерена испечь нынче к обеду. – И она показала пальцы, потемневшие от вишневого сока.

– И вы предпочли какие-то вишни мне? – спросил Левитан. Вроде бы шутливо спросил, однако Маше почудилось что-то неладное в его голосе.

– Предпочла, – усмехнулась она.

А в следующую минуту случилось нечто удивительное. Левитан бухнулся перед ней на колени и закричал:

– Да как вы могли?! Ведь я люблю вас!

На его прекрасных черных глазах даже слезы выступили.

Машенька не сразу поверила, что какие-то несчастные вишни могли вызвать такую бурю чувств. Уставилась на пылкого поклонника. А тот не унимался: все стоял на коленях, ломал руки и восклицал:

– Я вас люблю! Выходите за меня замуж!

Маша слушала-слушала, смотрела-смотрела, а потом вдруг так засмущалась, что закрыла лицо руками. И в ту же секунду очутилась в его объятиях. Как только он успел с колен так быстро вскочить?

Ее перепачканные вишневым соком пальцы, закрывавшие лицо, вмиг были осыпаны множеством поцелуев.

– Милая Маша, каждая точка на твоем лице мне дорога! – пылко воскликнул Левитан.

Маше стало смешно до невозможности. Что называется – художник! «Каждая точка дорога»… Даже в любви объясняется с точки зрения пуантилизма![1]

Маша поняла, что сейчас не выдержит и расхохочется. Нет, нельзя так унизить влюбленного! Оттолкнула его, повернулась – и кинулась наутек, от души надеясь, что Левитан примет ее побег за проявление девичьего смущения.

Нет, скрывать нечего – это самое смущение тоже имело место быть. И через несколько минут, забившись в заросли, Маша уже рыдала – от испуга, от счастья, от совершенного незнания, как теперь быть и что делать.

Потом она прокралась в свою комнату, снова плакала в подушку, девичью подружку, и к обеду не вышла, хотя там был знаменитый пирог (и очень вкусный, конечно!). Но там был и Левитан, а видеть его Маше отчего-то было страшно и стыдно.

Антон удивился, что сестры за обедом нет, а Левитан нервен и как бы не в себе.

– Ма-Па в грустях, – сказал брат Михаил не без ехидства, кося на Левитана и подмигивая Антону. – Рыдает, слезы из-под двери текут!

– Ну, надобно поглядеть, пока потопа не случилось, – усмехнулся Антон и отправился к сестре, не обращая ни малейшего внимания на испуганные глаза Левитана.

– Чего ты ревешь? – спросил Антон, присев на постель к плачущей сестре.

Кое-как добился ответа, кое-как разобрал смысл его среди всхлипываний и вздохов.

– Ну а ревешь-то чего?! – снова спросил Антон.

– Да как же? – удивилась Маша. – Мне теперь Левитану нужно ответ давать, а я не знаю, что сказать.

– Ты его любишь, что ли? – удивился Антон.

Она ничего не ответила, лежала, вздрагивая плечами.

– Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж. Но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.

В ту же секунду он пожалел, что был резок. Но что поделать, если он видел Левитана насквозь? Этот красивый человек слаб, он обречен вечно оставаться мальчишкой, которому нужна более сильная подруга, покровительница, наставница…

Машины плечи перестали дрожать.

Брат подумал, что его откровение поразило сестру до остолбенения, жалеючи вздохнул и вышел. Однако на самом деле Маша не страдала, а размышляла: что это за штука такая – женщина бальзаковского возраста?! Бальзака она почти не читала, к стыду своему, разве только довольно унылый роман «Евгения Гранде», однако там ни о каком таком возрасте и речи не было…

И все же Маша поняла: брат пытается ее предостеречь. И вняла этому предостережению – просто ни о чем не говорила с Левитаном, отвечать ему не стала. Неделю он ходил по Бабкину мрачной тенью, а потом… а потом буря чувств как-то сама собой сошла на нет, и они с Машей остались только хорошими друзьями на всю жизнь. Отношения теперь между ними были сугубо братско-сестринские.

Однако Чехов довольно скоро получил подтверждение своей мысли о том, что Левитана привлекло к Маше только мимолетное восхищение ее нежной красотой и чувство более дружеское, чем страстное. На самом деле его всегда будет тянуть к женщинам поистине роковым, не просто более сильным нравом, чем он, но и

самобытным, ярким, которые являются не тенью своего мужчины, а зеркалом, в котором он увидит отражение себя – достойное себя отражение!

Именно такой женщиной стала для Левитана Софья Кувшинникова. Ее салон был известен в Москве, однако познакомился с ней Левитан вдали от шума городского. Он был тогда на пленэре (это французское словечко вошло у художников в необычайную моду) – на даче у приятеля. За столом заговорили о том, что поблизости стоит какой-то эскадрон и там можно взять лошадь покататься.

– Не хочешь ли? – спросил приятель.

Левитан, который от любого спорта был далек, хоть и мог неутомимо ходить пешком сколь угодно долго и был страстным охотником, только отмахнулся в шутливом ужасе. Однако ему захотелось написать этюд с лошадьми на лугу в утренней росе, и вот ни свет ни заря он ушел с дачи и заспешил туда, где раскинуты были светло-серые военные палатки.

Чтобы дойти до них, предстояло пересечь луг. И вдруг раздался топот копыт, а вслед за тем прямо на него вылетел медово-рыжий скакун, а на нем – всадница.

Ох, и странная же это была амазонка! Никакого суконного, наглухо застегнутого платья с длинным шлейфом. Прямо на голое тело надет полупрозрачный капот, и сквозь тонкую ткань просвечивала смуглая, как у мулатки, кожа. Полы одеяния разлетелись, обнажив босые ноги, темно-рыжие волосы летели по ветру. У нее была фигура Афродиты, посадка Артемиды, бесстрашие Ипполиты, царицы амазонок…

Подскакала она к остолбеневшему Левитану, глянула сверху вниз – и исчезла вместе со своим прекрасным конем. Художнику какое-то время казалось потрясающим даже не то, что он видел, а то, что в мире ничего не изменилось после ее исчезновения. Вот уж воистину был удар молнии… нет, солнечный удар!

Работать Левитан в то утро уже не смог. Установил мольберт, начал наносить краски на палитру, но вдруг все уронил, а загрунтованный холст ни с того ни с сего опрокинулся в мокрую траву, кисть вообще провалилась в какой-то бочажок… И побрел он домой.

Хозяин дачи, его приятель, удивился:

– Что с тобой, Левитан? У тебя все лицо перекореженное!

Левитан рассказал, что видел. Рассказал, путаясь в словах, стыдясь дрожи своего голоса.

Приятель конфузливо усмехнулся:

– А, ну да… Есть тут одна такая… передовая дама. Не ты

один от нее ошалел. Любовник ее – в том эскадроне служит, он ей коня и дает. Утром приводит его, а потом сидит и ждет дома, пока его безумная подруга наездится вволю. Ну а плату берет… о-охо-охо, грехи наши! – Приятель подмигнул.

– Замужем ли она? – отрывисто спросил Левитан.

– Да, замужем. И муж ее – человек чудеснейший, благороднейший! Мой добрый знакомец Дмитрий Павлович Кувшинников. Он полицейский врач. Женушку свою непутевую обожает! Ее зовут Софья Петровна, и я тебе советую от нее держаться подальше. Таких восторженных красавчиков, как ты, она кушает на завтрак по пяти штук зараз, кофеем запивая, понятно? К тому же она на добрый десяток лет старше тебя, так что сильно губу не раскатывай. Это я тебе совершенно по-дружески советую, по-товарищески.

Однако Левитан ни дружескому, ни товарищескому совету не внял, а к вечеру, узнав, где находится дача Кувшинниковых, потащил приятеля туда, чтобы представить его хозяйке. Каков же афронт их ожидал, когда они узнали, что та уехала в город и больше не вернется!

И тогда Левитан, хотя прежде сговаривался с другом, что погостит у него самое малое месяц, а в благодарность за постой напишет для него большую картину, наутро же подался восвояси, пробыв на этом пленэре всего какую-то неделю и оставив на память о своем пребывании лишь пару незначительных этюдов. Он прибыл в Москву, а на другой день уже отыскал людей, которые могли бы ввести его в салон Кувшинниковых.

Найти таких было нетрудно, потому что, чудилось, вся художественная, театральная, литературная Москва была принята в этом доме. Кстати, братья Чеховы не раз навещали Кувшинникову и ее салон, и, может быть, случись Антон Павлович в ту пору в Москве, он сам представил бы друга, а может статься, и остановил бы его… Но, впрочем, вряд ли даже ему удалось бы сделать это. Левитан летел на огонь невероятной привлекательности Софьи Петровны, как мотылек на открытый фитиль керосиновой лампы.

Жили Кувшинниковы неподалеку от Хитрова рынка, и, как это ни странно, его обитатели относились к Дмитрию Павловичу с величайшим уважением. Между прочим, в знаменитой картине «Охотники на привале» в образе охотника-рассказчика Перов изобразил именно его! Он и в самом деле был страстным охотником и превосходным рассказчиком, но больше всего на свете любил свой ярко освещенный, затейливо убранный дом (а ведь это была всего лишь скромная казенная квартира, находящаяся под каланчой одной из московских пожарных

команд, в Малом Трехсвятительском переулке), всегда спешил туда, зная, что там увидит не прокуренную комнату полицейского участка, не зверские рожи хитровцев, а веселые, интеллигентные лица гостей, и прежде всего – умное, милое, любимое лицо своей жены.

Она была солнцем его жизни.

Кстати, не бог весть как красива была Софья Петровна, но превосходно умела подать себя. К ней вполне подходило определение «интересная женщина». Она была, безусловно, оригинальна, талантлива, поэтична и изящна; прекрасно одевалась, умея из каких-нибудь кусочков сшить изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все в квартире Кувшинниковых казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов там были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах же вместо занавесок были развешаны… простые рыбацкие сети.

Даже дамы, существа по большей части несправедливые и завистливые, принуждены были признать: в Софье Петровне имелось много такого, что могло нравиться и увлекать.

Дочь крупного московского чиновника Петра Сафонова, не чуждого литературе и искусству, она выросла в артистической среде, занималась музыкой и живописью, участвовала в любительских спектаклях и именовала себя «жрицей душевного, умственного и художественного». Антон Павлович, правда, называл ее Сафо, и неведомо, следовало это принимать за комплимент или нет. Впрочем, может быть, он просто каламбурил с ее именем.

Софья Петровна была очень известна в Москве, да и в самом деле являлась выдающейся личностью, как принято выражаться. Она блистательно играла на своем беккеровском рояле, легко читала ноты с листа и часто исполняла трио с виолончелистом и скрипачом; писала красками, и очень хорошо, даже выставляла свои работы, главным образом натюрморты и пейзажи. Ее работы экспонировались в 1887—1906 годах почти на всех периодических выставках Московского общества любителей художеств, которое приняло ее в свои члены за картину «Монастырские ворота». Кроме того, Софья Петровна участвовала в выставке Товарищества передвижников в некоторых петербургских выставках. Но самой, пожалуй, высокой оценкой дарования художницы стало то, что в 1888 году ее картину «Интерьер церкви Петра и Павла в Плесе» приобрел для своей галереи Павел Михайлович Третьяков.

Софья Петровна иногда носила мужской костюм и ходила с

ружьем на охоту, а позже ездила с художниками на этюды в качестве полноправного товарища, не обращая внимания на сплетни и пересуды… Словом, она была незаурядная женщина! Это свойство и собирало в ее кружок выдающихся людей. Даже когда Репин приезжал в Москву, он непременно посещал салон Кувшинниковой.

Сама она позднее так описывала свою жизнь: «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми.

Имея мужа, человека на редкость гуманного, великодушного, так же глубоко любящего искусство, как и я, не только не ставившего мне преград для занятий им, но, наоборот, всячески помогавшего в этом отношении, будет понятно, если я скажу, что жизнь моя была почти сплошным праздником…»

И вот в атмосферу этого сплошного праздника попал Левитан.

Он был ошарашен тем, что Софья Петровна мгновенно узнала его. Как ни мимолетен был взгляд, которым они обменялись там, посреди чиста поля, по которому она скакала на своем медово-рыжем коне, его лицо запало ей в память.

– Вид у тебя был уж очень ошарашенный! – объяснит она Левитану потом, когда они перейдут на «ты» и отношения между ними установятся близкие. Самые близкие – ближе просто некуда.

А сначала-то она держалась с ним подчеркнуто скромно. Сообщила, что восхищена его творчеством, что хотела бы учиться у него живописи… На уроки приезжала в его мастерскую, причем и в самом деле оказалась очень прилежной и усердной ученицей. Она совершенно поразительно умела распоряжаться временем. Часы в ее обществе, признавался с изумлением Левитан, как бы удлинялись: за какое-то вовсе уж малое время они успевали и живописью позаниматься, и провести время в постели… вернее, на том убогоньком шатком топчане, который стоял в мастерской Левитана и который они совместными усилиями расшатали еще сильнее, так что художнику частенько-таки приходилось этот несчастный топчан ставить на попа и подбивать его подгибающиеся ножки.

«Левитан закружился в вихре!» – вскоре с неодобрением констатировал Чехов… Хотя чего тут было не одобрять, строго говоря? Пожалуй, он немного ревновал друга, который был влюблен страстно, ошалело, безудержно – так, как сам Антон Павлович, человек более рассудочный и умственный, чем пылкий и сердечный, не смог полюбить никогда. Правда, эта ревность к Софье Петровне пряталась у Чехова за якобы искреннее

сочувствие к Левитану, которого «Сафо», по мнению Антона Павловича, открыто водила за нос. Был у нее знакомец по имени Алексей Степанов, тоже художник, – друг дома, как это называлось. Он был фантастически, рабски влюблен в Софью Петровну, которая держала его на шелковом, но очень прочном поводу. Другое дело, что Степанов на этом поводу ходил очень охотно. Ну что ж, с появлением Левитана у Софьи Петровны стали заняты обе руки. А впрочем, она, эта амазонка, вполне могла бы управлять и древнегреческой квадригой, поводья которой, как известно, распределялись между всеми десятью пальцами.

Вообще-то не Сафо ее следовало прозвать, а Цирцеей! О нет, она не превращала мужчин в скот, но полностью подчиняла их своей воле, делала бессловесными своими рабами, довольными теми крохами, которые Софья им бросала, благословляющими ту руку, которая их била…

Таким рабом был муж Софьи Петровны, Дмитрий Павлович Кувшинников. Таким стал со временем господин Степанов и иже с ними. Однако Левитана участь сия миновала, потому что Софья и сама в него влюбилась. Но это не помешало ей, отправившись с Левитаном летом 1887 года на пленэр, прихватить в собой в компанию и Степанова. Мужчины, впрочем, отлично ладили между собой.

С другой стороны, на творчестве Левитана эта бурная связь отрицательно не сказывалась. Вот уж нет! Сам Антон Павлович писал брату: «Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовский костюм, истощенный вид… Был он два раза на «Аиде», раз на «Русалке», заказал рамы, почти продал этюды…» Короче, дела, как творческие, так и финансовые, шли у художника блестяще!

В ту же пору его жизни артист Донской, тоже завсегдатай салона Кувшинниковой, не раз исполнявший здесь партии из «Лоэнгрина», «Пиковой дамы» или «Паяцев» под аккомпанемент Софьи Петровны, так описывал художника: «И сейчас он стоит передо мной как живой в разгар спора, со сдержанными, но полными внутреннего огня жестами, со сверкающими, удивительными глазами… Его речь в таких случаях била фейерверком, и он засыпал своего противника бесконечными потоками блесток… Откуда что бралось? Неожиданные мысли выливались в те образные и своеобразные выражения, которыми умеют думать и говорить только художники. В каждом слове чувствовалась сила и уверенность страстного убеждения, добытого долгими, одинокими переживаниями и согретого

темпераментом истинного большого художника».

Не стоило, право, Чехову ревновать: Софья прекрасно понимала, что «повод» Левитана должен быть длиннее, свободнее, чем у Степанова. Ей, конечно, льстила перспектива оказаться музой этого, безусловно, великого художника. Печально, что Левитан не слишком-то любил писать портреты (к примеру, такие, какими Брюллов прославил красоту своей музы и возлюбленной графини Самойловой), ну что же, для Софьи Петровны было довольно того, что она постоянно присутствовала при процессе, так сказать, создания его картин. И следует сказать, что немало полотен Левитана было вдохновлено не только красотами русской природы, которую он обожал, но и присутствием его возлюбленной женщины.

Впрочем, ее портрет он тоже написал – зимой 1888 года. Софья Петровна изображена сидящей в кресле, на ней белое атласное платье с розовыми цветами у ворота. Левая рука затянута в желтую перчатку. Лиф платья плотно обтянул тонкую талию, атлас струился мягкими складками до полу. Прелестны ее темные глаза и вьющиеся волосы… Правда, это изображение немножко далековато от образа той буйной амазонки, которая с первого взгляда поразила воображение Левитана, но фигура все же очень хороша!

Каждое лето и каждую осень Софья с Левитаном проводили на этюдах, почти не разлучаясь. Вместе они оказались в Плесе, и какое же множество картин было написано там! «После дождя. Плес», «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плес», «Осень. Мельница», «Пасмурный день на Волге», «Буря-дождь», «Церковь в Плесе», «Уголок в Плесе», «Вечерний звон», «Тихая обитель»… Да все невозможно перечислить! Как принято выражаться, Левитан открыл Плес, а Плес открыл Левитана…

Как-то раз Софье захотелось посмотреть церковную службу в старом храме, который давно стоял на запоре. Его история была окутана легендами: будто бы некогда здесь, у притвора под массивной плитой с кольцами, похоронили трех наложниц Ивана Грозного, сосланных в Плес за строптивость. Говорили о церкви разное. Но давно уже не открывались врата ее алтаря.

Они пошли к старому священнику отцу Якову. Просили долго. Священник опасался, что ветхие стены могут не выдержать. Но потом он поддался-таки уговорам гостей.

Левитан был потрясен службой. Он вообще любил в русской церковной службе прежде всего театральную красоту обряда.

«Впечатление получилось действительно и сильное, и трогательное, – будет потом вспоминать Софья Петровна. – Отец Яков и какой-то дьячок, тоже старенький, точно бы

заплесневевший и обросший мхом, удивительно гармонировали с ветхостью стен и темными, почерневшими ликами образов. Странно звучали удары старого, точно бы охрипшего маленького колокола и глухо отдавались, как будто эхо призрачных молитв. Где-то вверху на карнизах удивленно ворковали голуби. Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости, и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе, а в довершение впечатления в углу вдруг появились три древние старухи, словно сошедшие с картин Нестерова. Их фигуры в черных платках и старинных темных сарафанах странно мелькали в голубоватых волнах ладана. Истово крестились они двуперстным знамением и клали низкие, глубокие поклоны. Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в этой церкви, были когда-то венчаны и очень ее почитали. Левитан был тут же, с нами, и вот, как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставят свечи, и действительно – стал ставить их ко всем образам. И все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство…»

Как-то раз Левитан и Софья в Плесе чуть не погибли. Возвращались на лодке из заволжских лесов, гонимые непогодой. Неожиданно налетел ветер. Это произошло мгновенно – так бывает на Волге. Река стала коричневой, поднялись высокие волны, засверкала молния и озарила церквушку на горе… Лодку бросало, как щепку, заливало волнами. Небо обрушилось ливнем – сильным, бьющим по лицу и плечам.

С трудом добрались они до берега – к счастью, Левитан оказался искусным и сильным гребцом. Идти домой не было сил. Легли под лодкой, прижавшись друг к другу, чувствуя любовь и близость, как никогда раньше… В такие минуты Софья ощущала свою власть над этим мужчиной столь остро и болезненно, что почти плакала над ним, бьющимся в страстных судорогах.

Она и не подозревала, что и впрямь начнет скоро плакать из-за него!

Как-то раз Левитан был на этюдах один и, воротясь, рассказал, что набрел на цыганский табор. Восхищался красотой чеканных лиц, а когда Софья обронила что-то брезгливое, замкнулся в себе и на другой день с собой ее не взял. Вернулся грустный: оказывается, когда захотел нарисовать красивую цыганку, его погнали прочь. Почему-то это намерение оскорбило бродяг. Однако написать картину табора ему хотелось, очень хотелось! Он заставил Софью навертеть на себя какие-то платки, надеть немыслимые ожерелья… Как всегда, она фантастически быстро соорудила вполне приемлемый «цыганский» наряд, и

Левитан начал портрет. А потом неожиданно набросился на Софью с незнаемым прежде, почти животным пылом. И она поняла: другую искал он в ее чертах, в ее теле… да как он смел?! Хотела вырваться, оттолкнуть его, но не смогла. Какое же болезненное наслаждение получила она вдруг от самого сознания своего унижения! Цирцея сама ходила теперь на поводке…

На следующий день Левитан умчался с утра, оставив ее умирать от ревности. Вернулся злой, разочарованный: табор исчез! Софья Петровна мысленно перекрестилась от облегчения, а потом облачилась во вчерашний наряд… И снова все повторилось!

Позже, в Москве, она завела себе настоящие цыганские юбки, и платки, и мониста и научилась даже плечами трясти, как водится в цыганской пляске… Однако отчего-то в городе страсть Левитана к знойным развлечениям миновала, так что острые, пряные воспоминания Софьи Петровны остались всего лишь воспоминаниями. А Левитан после поездок в Плес, после того, как выставил созданные там картины, стал зваться первым живописцем России.

Антон Павлович все-таки не смирился с любовью своего друга к Софье Петровне. Она это знала, чувствовала, конечно, и страшно обижалась. Хоть Левитан и Софья вместе провожали Чехова, когда 21 апреля 1890 года он отбывал на остров Сахалин, Софья Петровна держалась с ним скованно. Левитан был уныл – и от грядущего расставания, и от явной натянутости отношений своего лучшего друга и своей любимой подруги. Атмосферу несколько разрядил Дмитрий Павлович Кувшинников, который примчался перед самым отходом поезда и повесил через плечо Чехову дорожную фляжку в кожаном чехле. В ней был коньяк, который он наказал выпить на берегу Великого океана.

На прощанье Антон Павлович подарил Софье Петровне только что вышедшую «Дуэль» с надписью «От опального, но неизменно преданного автора».

Она ответила сдержанной улыбкой, словно предчувствовала, какую боль спустя некоторое время причинит ей этот «неизменно преданный автор»… Впрочем, до того времени было еще далеко. Да и письма Чехов с пути писал Кувшинниковым и «томному Левитану» самые милые и дружеские. А пока новую рану нанес Софье тот, кого она так безумно любила.

Это случилось все в том же обожаемом Плесе. Как всегда, Левитан снял полдома у купца Грошева, который жил вместе с матерью, угрюмой староверкой. Ее фанатизм мирно уживался с неистовой жадностью, именно поэтому она позволяла сыну

сдавать жилье «нехристю». Деньги приходилось платить большие. Но дом и в самом деле был хорош, а потому Левитан не скупился.

На сей раз художников встретили у Грошевых самые серьезные перемены. Купец женился! Новобрачной оказалась воспитанница богатого заводчика из соседнего поселка. Звали ее Анна Александровна. Она была не бог весть как хороша, но мила, немножко образованна и безумно любила читать. Молодая хозяйка с восторгом встретила приезжих.

Софья Петровна мигом вызвала ее на откровенность и скоро узнала, что муж-то достался Анне милый и добрый, сильно в нее влюблен, да только слаб он, а свекровь так и норовит сжить ее со свету: книги для нее – дьявольское наваждение, что Анна ни скажет, как ни ступит – все не так. Мужу лишь бы в молельне лоб отбивать перед иконами, а постель супружеская, полное ощущение, грешное для него место. Ну а ежели когда сладится ночью меж супругами *доброе* , так наутро свекровь щипками сноху изведет, испилит попреками, изожжет ненавидящими взглядами. Словом, как ни боялась Анна прогневить бога, а лучше, казалось ей, в омут, чем за таким мужем жить.

Софья Петровна напишет об этом эпизоде своей жизни так: «Судьбе было угодно впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и, случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайно, по вечерам. И вот, бывало, я брожу с нею в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городком…»

Любопытная штука – мемуары! Особенно мемуары Софьи Кувшинниковой. Они были написаны гораздо позднее смерти Левитана – в то время, когда его уже не с кем было делить, не к кому ревновать. Она не повторила ошибки многих отставных любовниц великих и знаменитых людей, не уподобилась глупеньким дамочкам, которые поливают грязью «коварных изменщиков», заодно выставляя себя мстительными дурами. Напротив, она представила себя в роли все понимающей, всему сочувствующей подруги, наставницы блистательного художника, который плохо ориентировался в бурном море человеческих отношений, а выплывать ему удавалось, только имея под боком такого дивного лоцмана, как бесценная Софья Петровна.

Разумно. Но, пожалуй, далековато от действительности.

В подгородной же рощице бродили Левитан с Анной. А Софья Петровна и приехавший в Плес ее знакомец и ухажер Савва Морозов (тот самый, будущий знаменитый миллионщик) стерегли их на пригорке, в то же время делая вид, будто амурничают.

То есть Савва Тимофеевич по правде амурничал, поскольку был к Софье весьма неравнодушен. Его, заметим, вообще несказанно влекло к стервозным женщинам, и ярчайшее доказательство тому – его собственный брак, а главное – сгубивший его жизнь роман с агентессой большевиков Марией Андреевой, актрисой труппы Станиславского и «морганатической» супругой Максима Горького[2]. Да, так вот Морозов действительно ухаживал за своей спутницей, Софья же только и делала, что пыталась поймать чутким ухом отголоски бесед Левитана и Анны Александровны.

А эти двое беспрестанно говорили, говорили, поверяя друг другу свои уныния, и в конце концов им стало казаться, будто никто на свете их обоих так не понимает, как они друг друга. Ну, для Анны Александровны внимательный, душевный мужчина – это и впрямь было открытие великое, но, по мнению Софьи, вести себя так Левитану – значило предавать их любовь… Очень скоро ей стало ясно, что Анна Александровна хочет не столько «уйти из семьи», сколько создать новую. С кем, спросите вы? Не так уж трудно догадаться. Хотя, с точки зрения тех допотопных времен, брачный союз староверки и иудея представлялся чем-то вовсе несообразным. Но если он тем не менее забрезжил на горизонте, то сие свидетельствует прежде всего о том, что все на свете относительно, в том числе и религиозно-национально-расовые барьеры. Тем паче когда в дело вмешивается любовь!

Всем существом своим Софья Петровна понимала: у Левитана это мимолетное увлечение! Да, бывало с ним такое – этому вечному юнцу, который больше всего на свете любил прятаться под крылышками взрослых подруг, вдруг хотелось ощутить себя могучим и грозным мужем, который любую беду руками разведет, вскочит на лихого скакуна, посадит впереди себя юную и нежную… Ну и так далее. А ведь он и верхом-то ездить не умел!

Больше всего на свете Софье Петровне теперь хотелось, чтобы муж Анны Александровны пронюхал о ждущем его позоре и посадил бы свою кралю в подвал на цепь. Но тот был слеп и глух, все молился да молился, а матушка его, у которой глаза были даже на затылке, а нюх получше, чем у борзой, к несчастью, отбыла куда-то в глушь заволжскую, к родне. Таким образом, помешать намеченному бегству Софья Петровна не могла. Отменить затеянное не могла тоже, потому что это означало бы,

как говорят японцы, потерять лицо. Гордыню свою, честь и репутацию Софья Петровна лелеяла почище любого самурая, а потому приходилось идти скользким путем до конца, уповая лишь на то, что играть роль благодетеля и спасителя зачарованной красавицы Левитану вскоре надоест.

Между прочим, так в конце концов и случилось. Может быть, потому, что Анна Александровна была вовсе никакая не красавица? Судя по оставшемуся ее портрету работы Левитана (сделан углем, кое-где подцвечен сангиной и называется «Женский портрет»), она обладала невыразительным, хотя и милым личиком, довольно смелыми глазами, но ни в какой мере не вкусом и умением одеваться.

Короче говоря, бегство все же состоялось. Из Плеса уезжали парами: Морозов с Анной Александровной, а Софья – с Левитаном. Добрались до Москвы – и тут пути их разошлись. Морозов дал Анне кое-каких денег и даже попытался пристроить ее к работе на своих фабриках, ну а Левитан начисто забыл о ней, потому что надо было писать с этюдов картины, готовиться к выставке и поездке в Париж и в Рим, где ему было поручено Сергеем Третьяковым (в отличие от брата он собирал только картины западных художников) сделать несколько копий Коро.

Когда Левитан вернулся, Софья Петровна готовилась плечами пожимать в ответ на вопросы о судьбе Анны Грошевой. Однако напрягать мышцы не пришлось: Левитан не спросил о беглянке *ни разу* .

Может быть, кому-то такое положение вещей покажется странным, однако многие друзья художника отлично знали это его свойство: сильно перестрадав некую ситуацию, начисто забыть о ней, сбросить ее в какие-то бездны или завалы памяти. Выкинуть вон из своей жизни и стереть все ее следы в своем сердце.

Нужно было жить дальше, работать – ведь именно работа была самым главным в его жизни! Так что Анна Грошева канула бы в Лету вовсе и навсегда, когда бы не вышедший в 1903 году (уже после смерти Левитана) роман под названием «Развиватели». Написал его писатель по фамилии Северцев-Полилов, чье имя и творчество – совершенно белое пятно для современного читателя.

Бог бы с ним, с никому по-настоящему не известным писателем, однако в его романе рассказывалась история похищения Анны Грошевой. Выглядела она, вообще говоря, удивительно правдоподобно, несмотря на то, что все действующие лица скрывались под псевдонимами.

Псевдонимы, однако, выглядели более чем прозрачными:

Левитан звался Львовским, Кувшинникова – Хрустальниковой, Морозов – Зиминым, Грошевы – Полушкиными… Уже самим этим ироническим названием – «Развиватели» – автор обвинял художников в ложном просветительстве и в том, что они подговорили Грошеву бежать, а потом бросили бедную женщину на произвол судьбы. Но, как теперь принято выражаться, всякие совпадения с действительностью носят случайный характер…

Между тем из своего дальневосточного вояжа вернулся Чехов. Результатом стала географически-патетическая (с уклоном в демократизм) книга «Остров Сахалин», а друзьям – так сказать, «под водочку» – были преподнесены кое-какие путевые впечатления, не вошедшие в основной текст по цензурным соображениям. Но если кто-то думает, что они имеют отношение к положению бедных зэков в царских застенках или каторгах, то он ошибается.

Отчего-то настроения среди друзей Антона Павловича после таких его откровений начинали царить самые фривольные, а потому никого не удивило, что однажды в теплый майский день Левитан взял да и отправился на дачу «Затишье», куда наезжала к своему дяде Панафидину милая и легкомысленная красавица Лика Мизинова – предмет недолгой и не слишком-то пылкой любви Антона Павловича. Любви, которой исследователи творчества Чехова придают, пожалуй, слишком уж глобальное значение. По-нынешнему говоря, эти двое переспали да и разошлись, но поскольку Чехов жил по принципу «nulla dies sine linea»[3], хоть это выражение более пристало художнику, ибо художником и употреблено, он продолжал состоять с Ликой в оживленной переписке, а потому был в курсе того, как и с кем она теперь проводила время. Одновременно переписывался он и с Левитаном, и читать эти письма не только весело, но и досадно… за Софью Петровну – из-за маленького летнего романчика ее ненаглядного и обворожительного возлюбленного.

Ну что ж, надо было думать, с кем связываешься. Художники – они ведь все такие!

Чехов писал из Богимова, где поселилось их семейство: «Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбку, гулять и реветь. Ах, прекрасная Лика!

Когда Вы с ревом орошали мое правое плечо слезами (пятна я вывел бензином) и когда ломоть за ломтем ели наш хлеб и говядину, мы жадно пожирали глазами Ваше лицо и затылок. Ах, Лика, Лика, адская красавица! Когда Вы будете гулять с кем-нибудь или будете сидеть в обществе и с Вами случится то, о чем

мы говорили, то не предавайтесь отчаянию, а приезжайте к нам, и мы со всего размаха бросимся Вам в объятия. Подпись – Вам известный друг Гунияди-Янос».

«Гунияди-Янос» – вид слабительной воды. Страсть Чехова к Лике в этом письме ну очень, очень сильна… Или все же слаба?

Левитан сообщал Чехову: «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею – божественной Ликой! Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня – волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе это читать, но из любви к правде я не мог это скрыть. Поселились мы в Тверской губернии вблизи усадьбы Панафидина, дяди Лики».

Да, уехать-то Левитан уехал один, но когда Софья Петровна прослышала, что Лика собралась к дядюшке, она немедленно ринулась туда же, в Затишье.

Лика докладывала Чехову: «У нас тоже великолепный сад и все… да, кроме того, еще и Левитан, на которого, впрочем, мне приходится только облизываться, так как ко мне близко подойти он не смеет, а вдвоем нас ни на минуту не оставляют. Софья Петровна очень милая. Она, по-видимому, вполне уверилась, что для нее я не могу быть опасной, и поэтому сердится, когда я день или два не бываю в Затишье. От себя они оба меня провожают домой».

Вопрос такой: если Кувшинникова уверилась, что Лика ей не соперница, то почему же так тщательно следила за Левитаном и не оставляла Лику с ним ни на минуту вдвоем? Лика принимала желаемое за действительное: Софья ей ни на грош не верила!

Единственным светлым пятном того лета была музыка. То Софья Петровна играла в зале, пытаясь успокоить, угомонить свою ревность к ослепительной (и впрямь ослепительной!) и распутной (ничуть не менее, чем была распутна сама она) Лике. То пела Наталия Баллас, родственница Панафидиных, окончившая консерваторию в Вене.

У нее был низкий, сочный голос, и она великолепно подражала крику сов. По вечерам Наташа иногда появлялась перед террасой с длинными распущенными волосами, молитвенно складывала руки и начинала… кричать по-совиному. Птицы слетались к дому.

Левитан был в восторге, особенно в яркие лунные ночи. Вся сцена выглядела еще более таинственной и даже зловещей…

Часы работы для него были, конечно, священны, а порою, когда уж невмоготу становилось от напряжения, которое он сам

же содеял между двумя женщинами, он усаживал их близко-близко, словно подружек, и начинал читать вслух. Рассказы Чехова! В частности, «Счастье».

Левитан – Чехову: «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике; обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь. Вот где настоящая добродетель».

Между тем Лике надоело быть хорошей. Она жутко хотела соблазнить Левитана, но мешала Софья Петровна. Лика начала дергаться по пустякам.

Лика – Чехову: «Ваши письма, Антон Павлович, возмутительны, Вы напишете целый лист, а там скажется всего только три слова, да к тому же глупейших. С каким бы удовольствием я бы Вам дала подзатыльник за такие письма…»

Чехов – Лике:

«Очаровательная, изумительная Лика!

Увлекшись черкесом Левитаном, Вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану обещание приехать к нам 1 июня, и совсем не отвечаете на письма сестры. Хоть Вы и приняты в высшем свете, но все-таки Вы дурно воспитаны, и я не жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной говядины, которое покупаем у соседских кухарок… Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его стороны не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья. Будьте здоровы и счастливы и не забывайте нас».

Далее следует рисунок – сердце, пронзенное стрелой, и пара слов – «это моя подпись». В этом письме есть еще приписка: «Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражениями, как «черт задави», «черт подери», «подзатыльник», «сволочь», «обожралась» и т.п. Почерк у Вас по-прежнему великолепный».

Существовали – да, это правда! – действительно существовали у «фильдекосовой Лики» проблемы с тем, что называют культурой. Порой она была просто вульгарна сверх меры, и общение с ней в конце концов до такой степени доняло Софью Петровну, у которой при всем ее буйстве утонченности не отнимешь, что она предпочла уехать в Москву, решив, что лучше умереть от скуки и ревности, чем от ревности и раздражения.

Однако Левитан вскоре последовал за ней. Лика осталась ни с чем, и это почему-то страшно раздосадовало Чехова. Почему?

Уж не подсовывал ли он, грубо говоря, бывшую подружку лучшему другу, чтобы, во-первых, отвлечь того от Софьи Петровны, к чьему влиянию Антон Павлович никогда не переставал ревновать, а во-вторых, самому избавиться от довольно докучливой Лики, которая обвиняла его во всех несчастьях своей жизни (может, и не без оснований)?

Так или иначе, но Чехов решил-таки осадить Софью Петровну, а если повезет, то и поссорить ее с Левитаном. Он взял дело в свои умелые руки – и вот в двух январских книжках журнала «Север» за 1892 год был напечатан рассказ «Попрыгунья»…

Надо сказать, что в гостиной Софьи Петровны на столике лежал некий маленький альбом, куда могли от нечего делать заглянуть все посетители салона. Кто хотел, оставлял в нем рисунки и стихи, кто хотел – просто читал все написанное. Несколько страниц были испещрены размашистым, не слишком разборчивым почерком. Это были дневниковые записи Софьи Петровны, относящиеся к 1883 году.

Вообще-то записи были весьма откровенными, и совершенно непонятно, почему они оказались всем доступны. Софья Петровна подробно рассказывала о своей жизни в доме отца в маленьком сибирском городке и о своем романе с неким политическим ссыльным. Человек тот был женат, однако ни Софья, ни он об этой жене и не вспоминали, несмотря на ее жалкие письма к «разлучнице». Между прочим, и Софья была в то время уже замужем за Кувшинниковым, но о нем-то она вспоминала, постоянно терзаясь размышлениями, «отдаться ли всецело чувству» или вернуться к мужу. На почве этой раздвоенности она даже заболела. Наконец однажды вечером Софья получила взволнованную телеграмму от Дмитрия Павловича, который беспокоился о ее здоровье, и оставила в дневнике такую запись: «Мне все-таки лучше; еду к личности, как мой Дмитрий, который именно бескорыстно, отрешаясь от своего «я», умел любить меня одиннадцать лет».

Поскольку Чехов был уже много лет знаком с Софьей Петровной, он, конечно, не раз заглядывал в маленький альбомчик и читал эти записи. Именно под их впечатлением он еще в 1886 году написал рассказ «Несчастье», героиню которого, изменившую мужу, сильному, добродушному, чернобородому Ильину (в чем и состояло, собственно, несчастье), назвал Софьей Петровной.

В ту пору это ему с рук сошло. Кувшинникова тогда еще только начинала свой салон и тщеславилась тем вниманием,

пусть даже порой не слишком лестным, которое ей оказывали люди искусства, ею обожаемые. Да и вообще, она слишком любила свою эпатажную репутацию, чтобы обращать внимание на булавочные укольчики. Однако «Попрыгунью» можно было назвать ударом в самое сердце, к тому же нанесенным отнюдь не мизерикордией[4], а просто-таки топором!

Итак, перечитаем рассказ и взглянем на детали, в нем упомянутые, под новым углом зрения.

«Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий… В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта… Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук – все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружила и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды.

Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?»

Сюжет рассказа общеизвестен. Пустенькая замужняя дамочка в своей погоне за знаменитостями ударилась в адюльтер с известным художником.

«…Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа… Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник… Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы…»

Однако очень быстро эта скороспелая связь обоим наскучила.

«Рябовский… думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной… Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой!.. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной

сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село».

Ольга Ивановна проглядела, что рядом с ней в облике кроткого, доброго, простоватого, безмерно снисходительного ко всем ее «мелким шалостям» мужа существовал великий врач.

Потом он умер, потому что высасывал через трубочку дифтеритные пленки у больного мальчика и заразился.

Коростелев, друг Дымова, говорит о нем: «Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти… подлые тряпки!»

В героине «Попрыгуньи» с ее «подлыми тряпками» множество людей с изумлением и смехом узнали Кувшинникову. Узнала себя и она.

Неважно, что Ольга Ивановна была молоденькой блондинкой, а Софья Петровна – не больно-то молодой брюнеткой! Слишком много было ударов не в бровь, а в глаз – точных, справедливых и несправедливых, но все равно – безрассудно жестоких.

Главное, кто учил бы ее нравственности! Да кто угодно, но только не Чехов, который, по обыкновению, в путешествиях своих, в какой бы город ни прибывал, первым делом посещал там дом терпимости. И во время своего путешествия на остров Сахалин, сделавшего его пламенным трибуном и защитником справедливости, писал Суворину, издателю газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник», такие, например, «этнографические» письма: «С Благовещенска начинаются японцы или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит, и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо… в деле выказывает мастерство удивительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской… и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь».

Помилуй бог, Софья Петровна его ничуточки не осуждала. Она думала, что и Чехов исповедует ее кредо, которое она выразила однажды в описании собственной жизни: «Жили шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей».

Однако оказалось, что Чехов – это не Чехов вовсе, а какой-то Тартюф!

Разумеется, грянул скандал. Антон Павлович пытался оправдаться. «Можете себе представить, – жаловался он в письме к писательнице Лидии Авиловой, – одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».

Собственно, не только Софья Петровна увидела себя в кривом зеркале. Левитану тоже трудно было не узнать себя в Рябовском, даром что он сам был «волканический брюнет», а Рябовский – симпатичный блондинчик. Слишком много было рассыпано по повести его словечек. Слишком много деталей употребил Чехов, которые легко выдавали Левитана.

Ну а Дымов, великодушный, самоотверженный Дымов? Разумеется, это полицейский врач Кувшинников… Над которым, к слову, ехидный Чехов сам сто раз за глаза смеялся как над прекраснодушным рогоносцем, а теперь вдруг, глядите-ка, бросился на защиту обманутого мужа!

Узнали себя и другие персонажи «Попрыгуньи» – постоянные посетители салона Кувшинниковой. «Певец из оперы» – это артист Большого театра Л.Д. Донской, «артист из драматического театра, отличный чтец» – актер Малого театра А.П. Ленский, «молодой, но уже известный литератор» – Е.П. Гославский. В барине, иллюстраторе Василии Васильевиче легко просматривался граф Ф.Л. Соллогуб. Прототипом доктора Коростелева послужил художник А.С. Степанов, задушевный приятель Дмитрия Павловича Кувшинникова…

Скандал разгорался. Левитан, вообще говоря, не слишком-то злился, потому что слишком мало походил он на пустого и жестокого Рябовского. Он понимал (или уверял себя, будто понимает) природу художественного творчества, готов был оправдать Чехова, однако слишком сильна была обида Софьи Петровны. Он и ее жалел… И тогда написал гневное письмо Чехову – дело едва не дошло до дуэли.

Антон Павлович продолжал оправдываться, однако делал это безнадежно глупо:

– Моя попрыгунья молоденькая и хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода!

Но время шло и шло, новые сплетни и слухи поглотили внимание московской публики. Постепенно ссора между Левитаном и Чеховым сошла на нет, они были счастливы примирением, но Софья Петровна долго еще в душе сердилась на

бывшего друга. Ну да, он так и остался для нее – бывшим. А скоро и этим остаткам дружбы придет конец!

Настанет и конец любви…

Но пока что не было людей ближе их в целом мире! Как и прежде, Софья Петровна присутствовала и при рождении всех замыслов картин Левитана, и при их воплощении.

…Однажды под вечер близ Городка Владимирской губернии Левитан и Софья Петровна вышли на какую-то дорогу.

– Это знаменитая Владимирка – дорога на каторгу! – вспомнил Левитан.

Останавливаясь у креста, приткнувшегося на обочине, Софья продекламировала:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…

А затем продолжила:

– У таких крестов делались привалы. Сколько здесь, на этом месте, пролито слез, сколько передумано безнадежного, отчаянного!

Вскоре Левитан написал свою знаменитую «Владимирку» и подарил ее Павлу Михайловичу Третьякову.

Спустя некоторое время Левитан с Софьей поехали на озеро Островное Вышневолоцкого уезда, в имение Ушаковых. Это была старая, запущенная барская усадьба. Хозяева были счастливы приезду московских гостей, рассказывали, что лучше посмотреть в окрестностях. Именно здесь Левитан написал свою знаменитую картину «Над вечным покоем». Он поставил мольберт в зале ушаковского дома. Тут же находился рояль, и Левитан просил Софью Петровну играть. Она не переставая перебирала на клавишах то ноктюрны Шопена, то хоралы Баха, то траурный марш из «Героической симфонии» Бетховена. Эту музыку Левитан хотел слышать больше всего. Эта музыка и мрак, воцарившийся в последнее время в его душе, сливались с торжественным и унылым пейзажем, который возникал на полотне.

Когда картину купил Третьяков, Левитан так и сказал:

– В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием.

Да, на душе у него в то время было муторно. Угроза выселения из Москвы за черту оседлости пугала страшнее, чем смерть. Но друзья отстояли Левитана, и сам московский градоначальник великий князь Сергей Александрович выразил

ему свое расположение, навестив в мастерской. Однако страсть к страданию, любовь к унынию, покорность перед меланхолией надолго взяли верх в его душе.

Такое ощущение, что ему нужно было выразить свою печаль на полотне, чтобы отрешиться от нее. Выплеснул из себя прежние чувства и готов был встретиться с новым.

Оно, это новое, не заставило себя ждать. И опять обновление было связано с женщиной.

Имение Ушаковых лежало на холме, который возвышался направо от проезжей дороги. Налево от нее, тоже на холме, стоял густой бор, а в нем – имение Горка. Оно находилось на южной стороне озера. Озером до него ехать совсем близко, а дорогой чуть подальше. Горка была имением питерского сенатора Ивана Николаевича Турчанинова.

Турчаниновы владели землей где-то с начала семидесятых годов (с 1873 года участок уже значился за ними). Вокруг двора стояли хозяйственные постройки: кухня, конюшня, погреб, баня. Вместо старого одноэтажного дома Турчаниновы срубили и поставили двухэтажный, обшитый досками и окрашенный в желтоватый цвет дом с мезонином. Вокруг было много цветов, особенно флоксов; росли белые и розовые розы. Позднее Левитан изобразил этот дом на картинах «Март» (1895) и «Осень. Усадьба» (1894). Один из островов на озере тоже принадлежал Турчаниновым.

Сам Турчанинов оставался в Петербурге, в Горку приехали только его жена и дочери: Варя, Соня (им было 20 и 18 лет) и четырнадцатилетняя Анечка по прозвищу Люлю.

Для Анны Николаевны Турчаниновой этот приезд был чем-то вроде ссылки: Иван Николаевич, который был старше своей жены, отчаялся повлиять на ее романы с высокопоставленными чиновниками в Петербурге, успокаивая их жен. Он хлопотал только о том, чтобы имя Анны Николаевны не попало в столичные газеты. И это ему удалось. Далекий уголок в Островном был как бы спасением.

В то время в имении Ушаковых гостила Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, будущая знаменитая переводчица. Она так рассказывала о появлении новых лиц: «Это были мать и две очаровательные дочки – девушки наших лет. Мать была лет Софьи Петровны, но очень заботившаяся о своей внешности, с подведенными глазами, с накрашенными губами, в изящных корректных туалетах, с выдержкой и грацией настоящей петербургской кокетки (мне она всегда представлялась женой Лаврецкого из «Дворянского гнезда»). И вот завязалась борьба…

Мы, младшие, продолжали свою полудетскую жизнь, катались по озеру, пели, гуляли, – а на наших глазах разыгрывалась драма. Левитан хмурился, все чаще пропадал со своей Вестой «на охоте», Софья Петровна ходила с пылающим лицом, а иногда и с заплаканными глазами… И кончилось все это полной победой петербургской дамы и разрывом Левитана с Софьей Петровной…»

Да, Анна Николаевна влюбилась в Левитана с первого взгляда. Можно только дивиться, что на нее, искушенную, избалованную мужским вниманием даму, свободно перебиравшую любовников, произвел столь сокрушительное впечатление этот художник – правда, знаменитый, правда, очень красивый, но…

Кстати, еще раз повторим: Левитан был очень обаятелен и легко нравился женщинам, о чем говорили многие.

О.Л. Книппер-Чехова писала: «Левитан был обаятелен; секрет его обаяния заключался в скромности и доброте, в чуткости и мягкости при большом уме и гениальной одаренности».

«Он был по своей сущности аристократом до мозга костей, в самом лучшем смысле слова, – вспоминал художник А. Головин. – Основной чертой Левитана было изящество. Это был целиком «изящный человек», у него была изящная душа… Встретишься с ним, перекинешься хотя бы несколькими словами, и сразу делается как-то хорошо, «по себе», – столько было в нем благородной мягкости. К нему влеклись симпатии всех людей».

Им вторил М.П. Чехов: «У Левитана было восхитительное благородное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал».

В Горке, видя вокруг столько молодых, прелестных, смеющихся лиц, воодушевленный недвусмысленным интересом, который к нему с первой минуты проявила Анна Николаевна, подстегнутый тем неприкрытым соперничеством, которое вспыхнуло между Турчаниновой и Софьей Петровной, Левитан целиком отдался этому незнаемому прежде блаженству: быть яблоком раздора для доброго десятка женщин. «Кокетничал» он от всей души со всеми подряд, с непосредственностью избалованного мальчика и в то же время с изощренностью записного ловеласа разжигая к себе интерес: то одаривал кого-то своим вниманием, то переключался на другую, то оказывал предпочтение третьей, а потом отворачивался от всех и уезжал на этюды, где пропадал сутками, заставляя поголовно влюбленный «женский контингент» сходить с ума от беспокойства. Кокетничал

он, кокетничал – ну и дококетничался…

Софья Петровна, видя, что возлюбленный все более откровенно предпочитает другую, понимая, что все между ней и Левитаном кончено, попыталась отравиться. Она напилась было серы, которую соскребла со спичек, но поблизости, на счастье, оказался доктор, гостивший у соседей, и Софью Петровну спасли. Левитан уехал с ней в Москву, отвез домой… Это был великодушный поступок.

Софья Петровна с нетерпением дожидалась утра, надеясь, что Левитан приедет к завтраку, и все пойдет, как шло раньше. Однако ей подали только письмо от него: «Между нами все кончено, я уезжаю в Горку. Простите меня…»

Жизнь Софье Петровне спасла неистовая вспышка ярости, которая заставила ее строчить вслед художнику письма, одно другого ядовитей. Это хоть немного отвлекло ее от горя, хотя изрядно испортило там, в Горке, жизнь Левитану, которому доставляли эти несчастные письма в самый разгар его счастливого романа.

Вернее, романов…

С одной стороны, Анна Николаевна была убеждена, что покорила художника, который с каждым днем становился ей все дороже. Как и она ему. Итак, рядом с ним снова оказалась сильная женщина, еще более сильная, чем Кувшинникова, более успешная, более уверенная в себе, а главное, несравнимо более привлекательная для Левитана, для которого неиссякающая чувственная фантазия имела огромное значение. В ее объятиях он ощущал себя покорным учеником, она играла на нем, как на флейте… Кстати, на флейте она тоже играла! Этому научил ее петербургский любовник, который много чего в жизни повидал, даже в Индии побывал, ну и там почерпнул кое-какие полезные в жизни навыки.

Это было для Левитана таким неведомым открытием, таким острым ощущением!

Кроме того, он понимал (ну, может быть, не понимал, а чувствовал): время Софьи Петровны в его жизни прошло. Ему нужна новая муза – не хуже, не лучше, просто другая. Потому что только любовь способна вдохнуть молодую жизнь в его стареющие полотна. Поэтому совершенно не удивительно, что он, захлестнутый подавляющей чувственностью Анны Николаевны, еще находил время писать. Писать и писать, а также… кружить голову ее дочери Вареньке…

Строго говоря, Варенька сама возомнила бог весть что, пока ничего и не было. Еще уезжая сопроводить Софью Петровну, не уверенный, что когда-нибудь снова вернется в Горку, Левитан

подарил всем Турчаниновым пейзажи. Варе досталась пленительная пастель, изображавшая васильки в простой зеленой кринке. Васильки были ее любимыми цветами, и он это знал. Подписи всем он сделал шутливые, а Варе – серьезную: «Сердечному, доброму человеку В.И. Турчаниновой на добрую память. И. Левитан».

Ну ничего, ровным счетом ничего ни в надписи этой, ни во всем прочем не было такого, за что можно было зацепиться в надежде на любовное ошеломление! Однако ведь влюбленная женщина – сумасшедшая, которая всегда видит то, чего нет, а того, что по глазам бьет, заметить не в силах, да и не хочет… И когда Левитан все же вернулся в Горку – вернулся человеком, свободным от прошлого и готовым к будущему, – его ждали не только щедро открытые объятия Анны Николаевны, в которые он с восторгом бросился, но и письма Вареньки.

Эти письма таскала ему Люлю, которая его обожала. Процесс самого писания картин, процесс творчества производил на нее впечатление гипнотическое. Старшую сестру она тоже обожала, потому и помогала встречам двух обожаемых ею людей. И вот однажды Варенька, не в силах больше выносить ревность и ненависть к собственной матери, которая оказалась ее счастливой соперницей, поставила любимому ультиматум. Чем все это кончилось, видно из прелестного мемориального пассажа Михаила Чехова:

«Где-то на одной из северных железных дорог, в чьей-то богатой усадьбе жил на даче Левитан, он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство, он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Павлович был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке».

Батюшки-светы, ну сколь же многим был обязан Антон Павлович своему осмеянному в «Попрыгунье» другу и его любовницам! Право, можно подумать, что их предназначенье в том и состояло, чтобы не верными подругами художника быть, а навевать приступы вдохновенья желчному писателю!

Кстати, результатом поездки из Мелихова в Горку для Чехова стала не только «Чайка», но и прелестный рассказ «Дом с мезонином». Там столько сходства с ситуацией – при том, что Чехов маскировался, как мог, не желая новых обвинений в пасквилянтстве и не в силах больше ссориться с Левитаном. Он шифровался даже в деталях мельчайших, несущественных, сугубо географических: так, ошалевшую Вареньку Анна Павловна отправила в Петербург, а Мисюсь в рассказе уехала в Пензенскую губернию. Кроме того, Чехов, «поместив» своих героев в живописные островенские места и усадьбы у озера (их описание полностью совпадает с реально существовавшими домами), с первых строк своего рассказа «Дом с мезонином» умышленно отправляет нас в год 1891-й, в усадьбу Богимово. Все ясно: не должно быть и намека на то, что прототипы – это Левитан и семья Турчаниновых!

И тем не менее ошибиться в том, кто здесь кто, мог только самый наивный человек. Лида Волчанинова, завзятая филантропка, – это Анна Турчанинова с ее склонностью к благотворительной деятельности; Мисюсь, прозвище которой немножко напоминает о Люлю, – это Варенька. Описание горящего в лучах заходящего солнца креста на колокольне точно соответствовало особенностям погибшей при пожаре местной церкви…

Но и в этом рассказе Чехов остался Чеховым. Анна Николаевна любила Левитана и была любима им. И, несмотря на это – или именно поэтому? – Чехов сделал Лиду Волчанинову просто отвратительной, ледяной, бессердечной. Все симпатии автора – и невольно читателя – на стороне Мисюсь, бедной, сосланной, не успевшей изведать предназначенного ей счастья из-за беспощадной ревности сестры…

Ну что ж, возможно, конечно, что Чехов оказался здесь не просто желчным летописцем событий, но и провидцем истинной подоплеки случившегося. Именно поэтому ничто не повлияло на его вновь окрепшую дружбу с Левитаном.

Что бы ни думала Анна Николаевна об этом рассказе, она молча проглотила пилюлю. Может быть, она извлекла какие-то уроки из горькой участи Софьи Петровны? Ведь Левитан так и не смог простить ей, что из-за нее (вообще-то из-за ее любви к нему, но это детали!) он оказался замешан в публичный скандал и сделался героем московской сплетни?

А может быть, Анна Николаевна просто не читала этого рассказа?

Очень даже запросто.

Так или иначе, хотел ли Чехов их рассорить, нет ли, ему это

не удалось. Анна Николаевна оставалась рядом с Левитаном всю его оставшуюся жизнь. Она же выхаживала его на пороге смерти, причем искала духовной поддержки в это время не у кого иного, а у Чехова!

«Что-то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю, – писала она 20 мая 1900 года. – Не верю, что не выхожу».

Не выходила.

Левитан умер от затяжной болезни сердца в июле 1900 года. Накануне смерти, уже не сомневаясь в ее приближении, он позвал к себе брата и с его помощью сжег все свои письма – свой архив, оборвав этим множество нитей, завязав множество узлов. Да еще и записку оставил: «Письма все сжечь, не читая, по моей смерти. Левитан». Это уж на всякий случай.

Писем практически не осталось. Готовя собрание сочинений Чехова к печати, Марья Павловна собирала считаные строки Левитана по всем друзьям и знакомым. Турчанинова отмолчалась. Брат Левитана был категорически против публикации, отказался участвовать в этой затее. И только Софья Петровна Кувшинникова щедро отдала признания влюбленного художника издателям.

Что руководило ею в это время? Последнее тщеславие? Желание даже в эти минуты доказать миру, что именно она сыграла определяющую роль в жизни великого художника? Но ведь это и так ясно, какие тут могут быть сомнения, как бы там ни ехидствовал в свое время Чехов в «Попрыгунье»…

А вот, кстати, о «Попрыгунье». Помните, доктор Дымов умер от того, что отсасывал дифтеритные пленки у больного ребенка? А Софья Петровна Кувшинникова летом 1907 года по доброте душевной ухаживала за одинокой художницей, больной тифом, заразилась от нее и скончалась. Где ее могила, неизвестно.

Наверное, если бы об этом узнал господин Чехов, ему могло бы стать стыдно. Однако он умер за три года до сего события, так что…

А может быть, Антон Павлович узнал-таки о самоотверженности Софьи Петровны – узнал и устыдился того зла, которое ей причинил? Говорят же, что *там* все всё знают! И, не исключено, Чехов и Левитан вместе встречали в мире ином подругу своих молодых дней, «попрыгунью». А если и правда *там* известно все, что делается на земле, может статься, персонажи сей новеллы каким-то образом оказались осведомлены и о содержании нижеследующего объявления, которое любой и всякий может прочесть в Интернете: «Продаю антикварный рояль

J.Becker 1880 г.в. № 7152, представляющий антикварную ценность (на нем играла Софья Петровна Кувшинникова – любовница И. Левитана). Клавиши из слоновой кости, черного цвета, нуждается в реставрации».

Итак, вечность все поставила по местам!

notes

Примечания

1

В живописи манера письма раздельными мазками правильной формы наподобие точек или квадратиков (от французского pointiller – писать точками).

2

Об этой истории можно прочитать в книге Елены Арсеньевой «Дамы плаща и кинжала».

3

Ни дня без строчки (без штриха) (лат.).

4

В рыцарские времена кинжал особой формы, которым наносился «удар милосердия» смертельно раненному рыцарю.